

С. Бавин

Осип Мандельштам

2(14).1.1891 — 27.XII.1938

Родился Осип Эмильевич Мандельштам в Варшаве.

«В детстве я совсем не слышал жаргона, лишь потом я наслушался этой певучей, всегда удивленной и разочарованной, вопросительной речи с резкими ударениями на полутонах. Речь отца и речь матери — не слиянием ли этих двух питается всю долгую жизнь наш язык, не они ли слагают его характер? Речь матери, ясная и звонкая, без малейшей чужестранной примеси, с несколько расширенными и чрезмерно открытыми гласными, литературная великорусская речь. <...> Мать любила говорить и радовалась корню и звуку приобденной интеллигентским обиходом великорусской речи. Не первая ли в роду дорвалась она до чистых и ясных русских звуков? У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безъязычие <...>. Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы <...>. По существу, отец переносил меня в совершенно чужой век и отдаленную обстановку, но никак не еврейскую. Если хотите, это был чистейший восемнадцатый или даже семнадцатый век просвещенного гетто где-нибудь в Гамбурге...».

Отец поэта, Эмиль Вениаминович, был кожевником; мать, Флора Осиповна, — «просто» интеллигенткой, родственницей, кстати сказать, известного профессора литературы С.А. Венгерова; она хорошо знала русскую литературу и рано приобщила к ней сына.

В 1894 семья переехала в Павловск, а спустя три года поселилась в Петербурге.

«Скажу и теперь, не обвиняя, — писал Мандельштам в 1923 в книге “Шум времени”, — что, семи или восьми лет, весь массив Петербурга, гранитные и торцовые кварталы, все это нежное сердце города, с разливом площадей, с кудрявыми садами, островами памятников, кариатидами Эрмитажа, таинственной Миллионной, где не было никогда прохожих и среди мраморов затесалась всего одна мелочная лавочка, особенно же арку Главного штаба, Сенатскую площадь и голландский Петербург я считал чем-то священным и праздничным».

Петербург — это сквозная тема творчества Мандельштама. Он присутствует во всех книгах поэта, в стихах 1910–30-х, в прозе («Шум времени», «Египетская марка»), и на разных этапах предстает не только «в меняющихся со временем реалиях насущной повседневности», но и внебытовым социокультурным явлением, символом особого рода гармонии.

Детские годы поэта (и его двух младших братьев) прошли под сильным влиянием матери.

«Она, — пишет Н.Я. Мандельштам, — возила их на дачи и на курорты, выбирала для них гимназии — и очень умно, поскольку старшего отдала в Тенишевское [коммерческое училище], нанимала гувернанток, словом, старалась создать для них обычную обстановку интеллигентской семьи».

В Тенишевском училище Осип Мандельштам учился с 1900 по 1907. Это было довольно интересное заведение, где, помимо обычных предметов, много внимания уделяли спорту, ремеслам; но для Мандельштама важнейшими в его стенах были встречи с учителем словесности В.В. Гиппиусом (в книге «Шум времени» Мандельштам посвящает ему отдельную главу и знаменательные слова: «Власть оценок В.В. длится надолго и по сейчас. Большое, с ним совершенное, путешествие по патриархату русской литературы от Новикова с Радищевым до Коневца раннего символизма так и осталось единственным. Потом только *почитывал*») и одноклассником Борисом Синани, благодаря которому он познакомился «с миром Эрфуртской программы, коммунистических манифестов и аграрных споров». Это знакомство происходило во время первой русской революции. Мандельштам увлекся народническо-эсеровскими идеями, однажды (в 1907) даже выступал на митинге перед рабочими. Оказавшись на следующий год в Париже, в экстазе слушал речь Б. Савинкова, да и в целом, как пишет С. Аверинцев, «непростая

диалектика отношения Мандельштама к народническо-эсеровской традиции — важная составляющая его мировосприятия» (например, в 1918 он и Ахматова сотрудничали в эсеровской газете «Воля народа»).

В литературном журнале Тенишевского училища «Пробужденная мысль» в 1907 состоялся дебют Мандельштама-поэта. Понятно, что это еще оставалось только фактом личной биографии юноши. А по окончании училища родители, обеспокоенные политическими увлечениями сына, отправляют его за границу. Два года с перерывами он живет во Франции и Германии, слушает лекции в Сорбонне и Гейдельберге, ездит в Швейцарию, Италию. Этот период был единственным «очным» знакомством Мандельштама с Европой, с ее искусством, культурой, архитектурой, но он, безусловно, проявил те художественно-философские тенденции, которые во многом определили образную и идейную структуру поэзии Мандельштама.

В то же время, пишет Н.Я. Мандельштам, это был «период одиночества и стихов о юношеской тоске, неизбежном спутнике всякого юноши».

Стихи — в письмах — отправлялись в Петербург, к Вячеславу Иванову, на «башню» которого юный Мандельштам начал ходить в перерыве между Парижем и Гейдельбергом. В 1910, в девятом номере журнала «Аполлон» появились пять его стихотворений — настоящий дебют в большой литературе — «Медлительнее снежный улей...», «Она еще не родилась», «Невыразимая печаль», «Истончается тонкий тлен...» и —

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пусть мгновения стекает муть —
Узора милого не зачеркнуть.

Уже ранние стихи Мандельштама, по утверждению С. Аверинцева, «представляют собой едва ли не уникальное явление во всей истории мировой поэзии». Уникальность эта проявилась прежде всего в адекватности передачи юношеского мироощущения путем психологического дистанцирования себя от этих переживаний. Его «отчужденный» взгляд на реалии быта (и бытия), оформившийся в эти годы, — ключ к пониманию логики отношения поэта к векам и эпохам, религии и политике, к «Европе цезарей» и Сталину.

14 мая 1911 в жизни Мандельштама произошло еще одно важное событие — он крестился, причем крестился в методической кирхе города Выборга. О причинах, которые подтолкнули двадцатилетнего поэта принять христианство в малораспространенной для России протестантской конфессии, исследователи судят по-разному. Возможно, это произошло по элементарным житейским соображениям, возможно — были более глубокие основания. Сам поэт не оставил об этом никаких свидетельств; красивую версию, опирающуюся на анализ всего «мандельштамовского мира», предлагает С. Аверинцев в своей вступительной статье к «Сочинениям» поэта (1990).

Как бы то ни было, в том же 1911 Мандельштам поступает учиться на историко-филологический факультет Петербургского университета (в котором числится вплоть до 1917, но диплома так и не получает). Основное время и внимание с этой поры отдано творчеству. Он входит в круг петербургской богемы, печатается в ведущих журналах («Аполлон» и «Гиперборей»), общается со многими поэтами того времени. Один из современников Мандельштама, К. Мочульский, запомнил его таким:

«Тоненький, щуплый, с узкой головой на длинной шее, с волосами, похожими на пух, с острым носиком и сияющими глазами, он ходил на цыпочках и напоминал задорного петуха. Появлялся неожиданно, с хохотом рассказывал о новой свалившейся на него беде, потом замолкал, вскакивал и таинственно шептал: “Я написал новые стихи”. Закидывал голову, выставляя вперед острый подбородок, закрывал глаза, — у него были веки прозрачные как у птиц, и редкие длинные ресницы веером, — и раздавался его удивительный голос, высокий и взволнованный, его протяжное пение, похожее на заклинание или молитву. Читая стихи, он погружался в “аполлинический сон”, опьянялся звуками и ритмом. И когда кончал — смущенно открывал глаза, просыпался».

Произошло концептуальное сближение с группой поэтов, занимавшейся в «Академии стиха» Вяч. Иванова. Это Н. Гумилев, С. Городецкий, А. Ахматова, М. Зенкевич, В. Нарбут, отчасти — М. Кузмин. Они составляли основу порвавшего с «академией» «Цеха поэтов», в котором и родилась идея акмеизма — литературного течения, противопоставившего себя символистам и футуристам.

Манифесты нового течения были написаны «синдиками» («старейшинами») «Цеха поэтов» — Гумилевым и Городецким. Мандельштам тоже написал свой манифест («Утро акмеизма»), но он не «пришелся ко двору» и был опубликован лишь в 1919, в воронежском журнале «Сирена». Сравнительный анализ теоретических концепций вряд ли уместен в этом очерке; Мандельштам в своей статье декларировал собственно говоря, то, к чему пришел в это время в поэзии. Уподобляя акмеизм архитектуре, то есть искусству, имеющему дело с «реальностью материала, сопротивление которого» художник «должен победить», Мандельштам утверждает, что «строить — значит бороться с пустотой, гипнотизировать пространство», и образцовым временем такой деятельности называет европейское средневековье — по отношению к человеку («удельный вес Человека чувствовало и признавало <...> за каждым, совершенно независимо от его заслуг»), равно как и в «ажурно-тонкой культуре, когда абстрактное бытие, ничем не прикрашенное личное существование ценилось как подвиг». Разумеется, видимым символом средневековья для Мандельштама стала архитектура готического стиля.

«Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя — вот высшая заповедь акмеизма» — так писал Мандельштам. На этой почве проходил и водораздел, преодоление символизма в собственной поэтике. Классическим примером этого всегда называют «Я ненавижу свет...» (1912):

Я ненавижу свет
Однообразных звезд.
Здравствуй, мой давний бред,—
Башни стрельчатый рост!

Кружевом, камень, будь
И паутиной стань,
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань...

«Символизм» и «акмеизм» соседствовали и в первом маленьком сборнике стихов поэта «Камень», вышедшем в 1913 тиражом 300 экземпляров за счет автора в новом издательстве «Акмэ» (он оказался единственной книгой, выпущенной там). Н. Гумилев в «Письмах о русской поэзии» отметил это соседство, высоко оценив творчество коллеги в целом. Он выделил в книге два раздела и заметил:

«В первом общесимволистские достоинства и недостатки, но и там уже поэт силен и своеобразен. Хрупкость вполне выверенных ритмов, чуткое к стилю, несколько кружевная композиция <...>. О. Мандельштам <...> открыл двери в свою поэзию для всех явлений жизни, живущих во времени, а не только в вечности или мгновении <...>. Я не припомню никого, кто бы так полно вытравил в себе романтика, не затронув в то же время поэта».

В этом смысле показательна миниатюра поэта 1912:

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, — и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?

И Батюшкова мне противна спесь:
Который час, его спросили здесь,
А он ответил любопытным: вечность!

В качестве основного масштаба измерения поэтического мира Мандельштам избирает не «вечность», а «время» — в том понимании, которое позволяет ощущать своим любое время (эпоху), включая и время, переживаемое сейчас, и весьма далекие времена. «В цепь сочетаются снова / Первоначальные звенья» — так это выразилось в стихотворении «Душу от внешних условий...» (1911). «Вещи» (от собора до мороженого) в этом смысле становятся не более и не менее чем опознавательными знаками «времени», по мысли-изъявлению поэта включаясь в некую гармоническую систему. И «все краски жизни небогатой» равнозначны: Notre Dame,

Где римский судья судил чужой народ,
Стоит базилика, и — радостный и первый—
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод,

и новинка эпохи —

Кинематограф. Три скамейки.
Сантиментальная горячка.
Аристократка и богачка
В сетях соперницы-злодейки...

Начало первой мировой войны Мандельштам ощутил прежде всего как крушение гармонии («Европа»), хотя стихи 1914 запечатлели и легкий налет патриотического воодушевления («Немецкая каска — священный трофей», «Polaci!»), переходящего в антивоенный пафос («Реймс и Кельн», «В белом раю лежит богатырь...»).

Документальные свидетельства сохранили смутные упоминания о том, что Мандельштам в какой-то момент рвался на фронт, в санитарном поезде добрался до театра военных действий, но участия в них не принимал и вернулся в Петербург.

В самом конце 1915 выходит второй сборник «Камень» — почти вдвое превышающий по объему первое издание, включающий стихи 1908–1915. Он тоже был издан на средства автора. Близкий приятель поэта тех лет С. Каблуков с сожалением записывал:

«...Собрание вышло недовольно полным, до 27 стихотворений, отнюдь не плохих, а иногда и превосходных, не включены автором отчасти по мнительности, отчасти по капризу».

Любопытно, что критика сделала акцент на «рассудочности», «точности» и «холодности» книги, поэты (Гумилев, Городецкий, Волошин, отчасти Ходасевич) высоко оценили «идеи», «дух», «язык» поэзии Мандельштама. Основные характеристики направленности его музыки не меняются; добавляются лишь новые мотивы — война, бытовая конкретика («Кинематограф», «Теннис», «Американка» и др.). Именно «быт», кстати, вызвал неудовольствие В. Ходасевича, заметившего: «Думается, г. Мандельштам имеет возможность оставить подобные упражнения ради поэзии более значительной». Для своего момента Ходасевич, возможно, был и прав, но нельзя не учитывать ныне и весь контекст творчества Мандельштама, а он дает основания сделать и иной вывод; так, например, С. Аверинцев, подкрепляя свою позицию ссылкой на философию Хайдеггера, ставшую известной лишь в 1930-е, констатирует: «По сути дела, взгляд Мандельштама, отрешенно покоящийся на мальчишке перед мороженым, столь же серьезен, как тогда, когда переходит на какое-нибудь архитектурное чудо вроде Нотр-Дам или Адмиралтейства или на небеса и землю», а это означает, что отрешенная торжественность тона обусловлена отношением поэта к самому бытию вещей («любите существование вещи больше самой вещи», — писал поэт в «Утре акмеизма»).

Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью брэнной.

Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной!

Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны,
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари.

Нельзя не отметить такое немаловажное событие в жизни Мандельштама этих лет, как встречи с Мариной Цветаевой в 1915–1916 в Коктебеле, Петербурге, Москве и Александро-Владимирской губ.). «Чудесные дни с февраля по июнь 1916 года, дни, когда я дарила Мандельштаму Москву», – писала Цветаева в очерке «История одного посвящения», где, в частности, оспаривала, как злобные и недостоверные, воспоминания Г. Иванова о Мандельштаме коктебельского периода. А. Саакянц, предваряя публикацию цветаевского очерка в «Литературной Армении» (1966), писала: «Цветаева обладала даром показывать человека в “повседневности” так, что любая деталь, <...> как бы ни была незначительна — всегда выражала самую суть, сердцевину смысла <...> Именно так и вылеплен образ Мандельштама». Тогда же поэты «обменялись» несколькими стихотворениями. Мандельштам посвятил Цветаевой «В разноголосице девического хора...», «Не веря воскресенья чуду...», «На розвальнях, уложенных соломой...». «Не так много мне в жизни писали хороших стихов», – подчеркнула Цветаева в этом очерке.

На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.

А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.

Не три свечи горели, а три встречи —
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече —
И никогда он Рима не любил...

В продолжение разговора о лирических знакомствах Мандельштама уместно процитировать Ахматову, дружеское отношение которой к Мандельштаму сохранялось всю ее жизнь и в равной степени распространилось на его жену — Надежду Яковлевну.

«Когда он влюблялся, что происходило довольно часто, – писала Ахматова в “Листках из дневника”, – я несколько раз была его confidentкой. Первой на моей памяти была Анна Михайловна Зельманова-Чудовская, красавица-художница. Она написала его на синем фоне с закинутой головой <...>. Второй была Цветаева <...>, третьей — Саломея Андроникова (Андреева, теперь Гальперн, которую Мандельштам обессмертил в книге “Tristia” — “Когда, Соломинка, не спишь в огромной спальне...”, “Я научился вам, блаженные слова...”); <...> в начале революции (1920) <...> он был одно время влюблен в актрису Александринского театра Ольгу Арбенину <...> и писал ей стихи (“За то, что я руки твои...” и т. д.) <...>.

Всех этих дореволюционных дам (боюсь, что, между прочим, и меня) он через много лет назвал “нежными европеянками”:

И от красавиц тогдашних, от тех европеянок нежных
Сколько я принял смущенья, насады и горя!

<...> Замечательные стихи были обращены к Ольге Ваксель и ее тени <...>. В 1933–34 гг. Осип Эмильевич был бурно, коротко и безответно влюблен в Марию Сергеевну Петровых. Ей посвящено, вернее, к ней обращено стихотворение “Турчанка” (название мое), на мой взгляд, лучшее любовное стихотворение 20 века (“Мастерица виноватых взоров...”).

Надеюсь, можно не напоминать, что этот донжуанский список, – включает Ахматова, – не означает перечня женщин, с которыми Мандельштам был близок».

Февральская и Октябрьская революции пережиты Мандельштамом в немногочисленных, но очень емких, глубинных даже, а не просто глубоких стихах, вызывающих ассоциации с Французской революцией («Когда октябрьский нам готовил временщик...»),

с Россией «сто лет назад» («Декабрист», «Кассандре»), даже с гибнущим Иерусалимом («Среди священников левитом молодым...»).

«Гибель обоих городов тождественна, – писала по поводу этого стихотворения Н.Я. Мандельштам, – современный город погибает за тот же грех, что и древний».

С. Аверинцев разворачивает эту мысль:

«По-видимому, едва ли будет ошибкой понять негативный общий знаменатель между Российской империей и окаменевшей Иудеей как национальный мессианизм, срывающийся в “небытие” (тема “Пшеницы человеческой” в 1922),— качество государственности, чересчур густо сакрализованной. Уходящий державный мир вызывает у поэта сложное переплетение чувств. Это и ужас, почти физический. Это и торжественность (...). И третье, самое неожиданное, – жалость...»

Важнейшим, можно сказать — определяющим отношением поэта к революции, и — шире — к миру, включая в него и себя, стало стихотворение «Сумерки свободы» (1918). В нем все символично; каждый образ наполнен глубоким ассоциативным и порой не до конца могущим быть проясненным смыслом, начиная с заглавия. «Сумерки» — это промежуточное состояние, которое наступает в природе и перед рассветом, и перед тьмой... «Солнце» в данном случае — в одном ряду с «народом», который «восходит» в «глухие годы». Однако «корабль времени» идет «ко дну» — и ласточки, связанные (!) «в легионы боевые», затмили солнце. Но «земля плывет» — куда?

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом, океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

С. Аверинцев связывает финал этого стихотворения с уже выбранным для себя поэтом путем: «личной готовностью быть жертвой», и подкрепляет этот вывод более поздними высказываниями поэта, вплоть до запомнившихся Ахматовой слов Мандельштама 1934 (после написания стихотворения о Сталине): «Я к смерти готов».

Может быть, ученый и преувеличивает степень жертвенности поэта, но степень «верности русской беде» — равно как и у Ахматовой — у Мандельштама безусловно была исключительно высока.

Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры.

Другое дело, что мир Мандельштама не допускал существования хаоса. Он строил свою гармонию из любого материала — готика, Западная Европа, Рим, католицизм, православие, окружающий мир «цивилизации» и — в стихах, вошедших в сборник «Tristia», и более поздних — уже просто мир природы, мир «простых вещей»:

Взгляни: в моей руке лишь глиняная крынка,
И верещанье звезд щекошет слабый слух,
Но желтизну травы и теплоту суглинка
Нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух.

Тихонько гладить шерсть и ворошить солому,
Как яблоня зимой, в рогоже голодать,
Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому,
И шарить в пустоте, и терпеливо ждать.

Еще более жестко эта же мысль оформилась в строках, написанных в Воронеже:

И в голосе моем после удушья
Звучит земля — последнее оружие...

В биографическом плане первые послереволюционные годы судьба Мандельштама складывалась вполне типично для людей его круга, разве что чуть больше уберегала от случайной гибели, рядом с которой он оказывался не раз и в Москве, и в своих скитаниях по Крыму и Кавказу. Но уже в 1920, в стихотворении «Феодосия», прозвучат философски спокойные слова:

Прозрачна даль. Немного винограда.
И неизменно дует ветер свежий.
Недалеко до Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

Весной 1919 он уезжает на юг — и в Киеве происходит важнейшая встреча его жизни — с юной художницей из «табунка» киевской артистической молодежи, объединенной в ХЛАМе (ночном клубе художников, литераторов, артистов, музыкантов), — Надей Хазиной, ставшей ему женой, ближайшим другом, спутницей в скитаниях, литературным секретарем... Мандельштам сообщил ей в начале знакомства:

«Когда я пишу стихи, никто ни в чем мне не отказывает...»

Ахматова вспоминала:

«Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно. <...> Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил ее советов о каждом слове в стихах. Вообще я ничего подобного в своей жизни не видела. Сохранившиеся письма Мандельштама к жене полностью подтверждают это мое впечатление».

Роль Надежды Яковлевны в его судьбе переоценить невозможно. Они познакомились 1 мая 1919.

«...В 1934 году, когда Мандельштам был арестован, отправилась с ним в Чердынь и Воронеж. В ночь с 1 на 2 мая 1938 года поэт был вторично арестован. В ту ночь они расстались, — пишет в предисловии ко «Второй книге» воспоминаний Надежды Мандельштам М. Поливанов. — После этого Надежда Яковлевна жила только для того, чтобы сохранить Мандельштама — его стихи, историю его жизни и смерти. Стихи и прозу она твердила наизусть, не доверяя своим тайным хранениям, а некоторые — как стихотворение о Сталине, но не только его — не смея даже записать <...>. Обе книжки Надежды Яковлевны стали бесценным комментарием ко всему написанному Осипом Мандельштамом и материалом к его биографии».

Революция, можно сказать, в буквальном смысле оторвала Мандельштама от «корня». За исключением краткого периода 1933 (закончившегося первым арестом), у него уже никогда не было собственной квартиры, а в худшие времена — даже и «угла». Первое послереволюционное пятилетие его пути ведут из Петербурга в Харьков, Киев, Севастополь, Феодосию, Коктебель, оттуда, спасенный от врангелевской контрразведки благодаря полковнику Цыбульскому (а также Волошину и Вересаеву), перебирается в Батуми, где еще раз оказывается под арестом (его выручают грузинские поэты Н. Мицишвили и Т. Табидзе), потом живет в Тбилиси, где его тепло принимают грузинские символисты, члены группы «Голубые роги».

Потом возвращается в Петроград.

«Как воспоминание о пребывании Осипа в Петербурге в 1920 году, кроме изумительных стихов к О. Арбениной, остались еще живые, выцветшие, как наполеоновские знамена, афиши того времени — о вечерах поэзии, где имя Мандельштама стоит рядом с Гумилевым и Блоком, — писала Ахматова. — Все старые петербургские вывески были еще на своих местах, но за ними, кроме пыли, мрака и зияющей пустоты, ничего не было. Сыпняк, голод, расстрелы, темнота в квартире <...>. В Гостином дворе можно было собрать большой букет полевых цветов <...>. Все кладбища были разгромлены. Город не просто изменился, а решительно превратился в свою противоположность».

Несколько месяцев зимы 1920–1921 Мандельштам прожил в ДИСКе — Петроградском «Доме искусств», своеобразном пристанище интеллигенции в разоренном войной городе. Этот период ярко запечатлела, в частности, Ольга Форш в своей художественно-документальной книге «Сумасшедший корабль».

Для Мандельштама это время было, без преувеличения, «похоронами Петербурга» (как «“полное крушение и катастрофу” ощутил он арест П. Флоренского, — пишет

Надежда Яковлевна. – <...> Смерть Гумилева окончательно превратила Петербург в город мертвых»). Стихи 1920 — со сквозными образами «ласточки», «потерянного» слова, «тени» — оставляют впечатление, что человек пытается удержать, заклиная от разрушения, еще совсем недавно бывший целостным мир, и — не верит, что это возможно:

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Все поют блаженных жен родные очи,
Все цветут бессмертные цветы.

.....

Слышу легкий театральный шорох
И девическое «ах» —
И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках.
У костра мы греемся от скуки,
Может быть, века пройдут,
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут...

«В двадцать первом году Мандельштаму стало ясно, что человечество, отказавшись от дара жизни, идет — предначертанным ли путем? — в небытие», — констатировала Надежда Яковлевна. Эсхатологические мотивы пронизывают многие стихи Мандельштама первой половины 1920-х. («И меня срезает время, как скосило твой каблук...», «умирание века», «век умирает», «жизнь упала, как зарница...»). Единственными островками гармонии остаются блестящие лирические стихотворения и произведения, ориентированные на «землю» (типа «Золотистого меда струя...»).

В конце зимы 1921 Мандельштам снова едет в Киев, потом, уже с Надеждой Яковлевной, — в Москву, весной вновь — от голода и безбыта — отправляются на юг (Тбилиси).

«В первую минуту, переехав грузинскую границу в вагоне “для душевнобольных”, мы поняли, что очутились в другом мире, — вспоминает Н.Я. Мандельштам. — Поезд остановился, и все пассажиры во главе с машинистом и проводниками кинулись к стоявшим поодаль арбам с бочками. Мы двинулись в путь захмелевшие и веселые <...>. Мы мотались по Грузии на птичьих правах, чужие и непонятные люди, сбежавшие из нищей в богатую и равнодушную страну...».

Дальше были Новороссийск, Ростов, Харьков, Киев и вновь Москва. «О Петербурге не было и речи».

Мандельштам пытается приспособиться к сложившимся обстоятельствам. Расширяется диапазон творчества — статьи, эссе, рецензии, бытовые очерки («Сухаревка»), переводы. Произведения этих лет разбросаны по периодике всех городов, где он побывал.

Среди важнейших мировоззренческих статей Мандельштама — «Слово и культура», «Пшеница человеческая», «Гуманизм и современность». Их главная задача — показать «пустоту, историческую неоправданность, тупиковость всех предстоящих попыток обновить кровавый пафос государственного “величия” и утвердить «достоинство и свободу человека» (Аверинцев). Идеал поэта — «свободная игра тяжестей и сил, человеческое общество, задуманное как сложный и дремучий архитектурный лес, где все целесообразно, индивидуально, и каждая часть аукается с громадой» («Гуманизм и современность»).

Бытовая сторона жизни этих лет с яркой злостью и каким-то отчаянным весельем запечатлена Надеждой Яковлевной в соответствующих главах «Второй книги». Результаты поэтической деятельности Мандельштама отразились в публикации нескольких стихотворных сборников.

Из новых стихов составлена книга «Tristia» (1922), выпущенная берлинским издательством «Petropolis». Поэт, всегда очень ревностно относившийся к составлению своих книг, был ею недоволен. «Книжка составлена без меня против моей воли безграмотными людьми из кучи понадерганных листков», – написал он на своем экземпляре, пестрящем авторскими пометами на полях — «ерунда», «искажено» и т. д. Однако критика не обратила внимания на такие «тонкости» и в общем единодушно высоко оценила сборник (Эренбург, Ходасевич, Бобров, Струве). Восторженнее всех выразился Н. Пунин:

«...Очень пышный и торжественный сборник, но это не барокко, а как бы ночь формы... Никаких не надо оправданий этим песням. И заменить их тоже нечем. Вот почему <...> я всему изменю, чтобы слышать этого могущественного человека <...>. Условимся же никогда не забывать его, как бы молчалива ни была вокруг него литературная критика. И через ее голову станем говорить с поэтом, самым удивительным из того, что, уходя, оставил нам старый мир».

В 1923 почти одновременно (в мае — в Москве, в июле — в Петрограде), выходят два сборника — «Вторая книга», включившая в себя стихи 1916–1923, и новое издание «Камня», содержащее 86 стихотворений 1908–1922.

Нельзя не вспомнить и еще один сборник 1921, имевший название «Последние стихи» и выпущенный автором в рукописном виде в количестве пяти экземпляров. «Самиздат» 1921 — знал бы Мандельштам, как точно он угадал судьбу своих произведений на последующие десятилетия!

Большой перерыв в поэтическом творчестве Мандельштама наступит в 1925 и продлится пять лет, но все пишущие о нем единодушно считают самыми значительными, итожащими определенный этап в мировоззрении поэта стихотворения «Век» (1922) и «1 января 1924 года» (1924, 1937). В первом констатируется необратимость прошедшего с использованием наводящей жуть метафоры:

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.

.....

И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап...

Во втором — отрешенно и мужественно формулируется собственное отношение к новому миру:

Кто время целовал в измученное темя, —
С сыновней нежностью потом
Он будет вспоминать, как спать ложилось время
В сугроб пшеничный за окном.
Кто веку поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших, —
Он слышит вечно шум — когда взревели реки
Времен обманных и глухих.

.....

Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
 Еще немного — оборвут
 Простую песенку о глиняных обихах
 И губы оловом зальют.

О, глиняная жизнь! О, умирање века!
 Боюсь, лишь тот поймет тебя,
 В ком беспомощная улыбка человека,
 Который потерял себя.
 Какая боль — искать потерянное слово,
 Больные веки поднимать
 И с известью в крови для племени
 чужого Ночные травы собирать.
 Москва — опять Москва. Я говорю ей: здравствуй!
 Не обессудь, теперь уж не беда,
 По старине я принимаю братство
 Мороза крепкого и щучьего суда.

.....
 А переулочки коптели керосинкой,
 Глотали снег, малину, лед,
 Все шелушиться им советской сонатинкой,
 Двадцатый вспоминая год.
 Ужели я предам позорному злословью —
 Вновь пахнет яблоком мороз —
 Присягу чудную четвертому сословью
 И клятвы крупные до слез?

Вторая половина 1920-х — время прозы Мандельштама. В 1925 выходит начатая в 1923 автобиографическая, но более — «петербургографическая» книга «Шум времени». В ней, по утверждению Ахматовой, поэт «еще умудрился быть последним бытописателем Петербурга — точным, ярким, беспристрастным, неповторимым». В 1928 в Ленинграде вышел, при активном содействии Н. Бухарина, последний поэтический сборник — «Стихотворения», в составе которого, жестко отобранные цензурой и автоцензурой, стихи разных лет, представленные разделами «Камень», «Tristia» и «1921–1925». Критика уже изменила тон по отношению к поэту. Не в силах не отметить высочайшее мастерство, все пишущие отлучали Мандельштама от «современности» вплоть до именованя его «насквозь буржуазным поэтом». Времена еще были «вегетарианские», по выражению Ахматовой, но политическим доносом пахло явственно. Только Б. Пастернак в личном письме автору не сдерживал эмоций в оценке книги:

«...Ничего равного или подобного ей не знаю! Все эти стихи <...> знал, но и без того они росли и вырастали при каждом новом чтении <...>. Совершенство ее и полновесность — изумительны, и эти строки — одно лишь восклицанье восторга и смущенья».

В этом же году вышел сборник литературно-критических статей Мандельштама «О поэзии» и повесть «Египетская марка», продолжившая тему Петербурга в «эпоху керенщины», как выразился журнал «На литературном посту»; исследователи отмечают ее развитие в гоголевско-достоевских традициях и несомненное присутствие автобиографического элемента. Вслед за ней пишется (под диктовку Надеждой Яковлевной) «Четвертая проза» — произведение, существовавшее в списках до 1971, когда было опубликовано в нью-йоркском Собрании сочинений поэта.

«Жанр этого небольшого произведения не поддается однозначному определению, — комментирует его в московских «Сочинениях» П. Нерлер. — Элементы исповеди, памфлета, открытого письма в нем, бесспорно, присутствуют, но не определяют целого. В целом же эта проза — диагноз нравственной деградации эпохи, уже начисто лишенной категорий доброты, порядочности и чести».

В основе «Четвертой прозы» — события из жизни Мандельштама, связанные с его работой в газете «Московский комсомолец», но более того — с недоразумением,

раздутым в неприличный скандал по инициативе переводчика А. Горнфельда (подробности — в комментариях ко второму тому «Сочинений» Мандельштама. М., 1990).

Где-то же надо найти место сказать о менее известной стороне творчества Мандельштама, чтобы разбавить впечатление от беспросветного мрака, эсхатологичности и жертвенности. Эта сторона — шуточные и пародийные стихи, экспромты, эпиграммы, которыми автор увлекался еще со времен «Цеха поэтов».

«Особенно много шуточных стихов Мандельштам сочинял в Москве в тридцатые годы, обычно с Анной Андреевной Ахматовой», — писала Н. Я. Мандельштам.

Это серии миниатюр «Антология античной глупости», последняя из которых (с «подправленным» названием «Антология житейской глупости») датируется концом 1920-х. В 1912 написано:

— Лесбия, где ты была?— Я лежала в объятьях Морфея.
— Женщина, ты солгала: в них я покоился сам!—

а в другой серии, с «посвящением» поэту Вс. Рождественскому —

Пушкин имеет проспект, пламенный Лермонтов тоже.
Сколь же ты будешь почтен, если при жизни твоей
Десять Рождественских улиц!..

Нельзя не упомянуть и «Моргулеты» начала 1930-х — смешные четверостишия, главный «герой» которых — добрый знакомый Мандельштамов А.О. Моргулис, переводчик, член правления ССП, одно время работавший в газете «За коммунистическое просвещение», куда устроил и Надежду Яковлевну.

У старика Моргулиса глаза
Преследуют мое воображенье,
И с ужасом я в них читаю: «За
Коммунистическое просвещенье»!

«Авторы почти всех воспоминаний о Мандельштаме неизменно отмечают, что это был человек неистребимой веселости: шутки, остроты, эпиграммы от него можно было ожидать в любую минуту, вне всякой зависимости от тяготы внешних обстоятельств, — пишет П. Нерлер. — Между шуточными и “серьезными” стихами он проводил четкую грань, но чем строже и аскетичней становилась его лирика, тем раскованней и своевольней писались шуточные стихи».

Шуточными были и детские стихи 1925–1926. («Мы переехали тогда в Ленинград, — вспоминала Надежда Яковлевна, — и развлекались кухней, квартиркой и хозяйством. Потом они кончились, и навсегда...»)

Для резиновой калоши
Настоящая беда,
Если день — сухой, хороший,
Если высохла вода.
Ей всего на свете хуже
В чистой комнате стоять:
То ли дело шлепать в луже,
Через улицу шагать!

Тогда же они составили четыре иллюстрированные книжки для детей, выпущенные ленинградскими издательствами (рисунки к одной из них — «Примус» — сделал М. Добужинский).

Трудное психологическое и материальное положение в 1930 оказалось на время разрешенным благодаря Бухарину. Его стараниями Мандельштам с женой попадают на Кавказ, в Армению, и — осенью — в Тифлис, где прерывается пятилетняя стихотворная пауза.

«Нет ничего более поучительного и радостного, чем погружение себя в общество людей совершенно иной расы, которую уважаешь, которой сочувствуешь, которой вчуже гордишься, — писал Мандельштам в созданной по мотивам этой поездки “полуповести” (авторское название) “Путешествие в Армению”. — Жизненное наполнение армян, их грубая ласковость, их благородная трудовая кость, их неизъяснимое

отращение ко всякой метафизике и прекрасная фамильярность с миром реальных вещей — все это говорило мне: ты бодрствуешь, не бойся своего времени, не лукавь. <...> Я находился в среде народа, прославленного своей кипучей деятельностью и, однако, живущего не по вокзальным и не по учрежденческим, а по солнечным часам...»

Надежда Яковлевна подчеркивала, что его желание поехать в Армению — это «не туристская прихоть, не случайность, а, может быть, одна из самых глубоких струй мандельштамовского историсофского сознания. Традиция культуры для Мандельштама не прерывалась никогда: европейский мир и европейская мысль родилась в Средиземноморье — там началась та история, в которой он жил, и та поэзия, которой он существовал <...>. Для Мандельштама приезд в Армению был возвращением в родное лоно — туда, где все начиналось, к отцам, к истокам, к истопнику».

Так же как Армения стала толчком к пробуждению поэтической музыки, армянская тема в «Путешествии...» развернулась в калейдоскоп образных и ажурно-четких суждений Мандельштама о европейской культуре, о естествознании, о филологии (что, кстати сказать, вызвало необъяснимый и дружный гнев рецензентов после публикации текста в журнале «Звезда»). Чувство слова, вкус к слову, ощущение непреходящей значимости слова — одна из важнейших отличительных черт художественного мира Мандельштама вообще; его взаимоотношения со словом и, если так можно сказать, «образ слова» в его поэзии и прозе — отдельная и глубокая тема.

Из поездки на Кавказ Мандельштамы возвращаются в Ленинград.

Я вернулся в мой город, знакомый до слез...

Но долго там не продержались (не было жилья) и уехали в Москву. «Первые полтора года мы мытарили по чужим квартирам, одно время даже порознь. „Волчий цикл” писался, когда Мандельштам жил у своего брата (у Шуры), а я у своего», — записывала Надежда Яковлевна.

Стихи, написанные в это время, поражают сочетанием какой-то обреченности и, одновременно, ожесточенным чувством свободы, — свободы сказать то, что уже стало ясно поэту: наступило время, когда слово должно было стать делом, поэзия должна была стать поступком. «Поэзию уважают только у нас — за нее убивают», — сказал он как-то жене.

...Но не хочу уснуть, как рыба,
В глубоком обмороке вод,
И дорог мне свободный выбор
Моих страданий и забот.

Не только произнесением вслух того, о чем многие боялись и подумать, отмечены стихи 1930-х. В них звучит вызов — и «современникам», которые рьяно стремились поэта «от века оторвать», и, с презрением — власти, «системе» (говоря современным языком), которой он отказывает в праве быть равной человеку.

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей,—
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

Стихи шли потоком. «Возвращение к стихам привело к чувству единения с миром, с людьми, с толпой на улицах...» — писала об этом времени Надежда Яковлевна. Наиболее адекватно эта мысль соответствует стихотворению «Еще далеко мне до патриарха...» (1931) с грустным финалом после «перечисления» всех мест прогулки по городу — от китайских прачечных до «вертепов чудных музыев»:

И до чего хочу я разыгаться,
 Разговориться, выговорить правду,
 Послать хандру к туману, к бесу, к ляду,
 Взять за руку кого-нибудь: будь ласков,
 Сказать ему: нам по пути с тобой.

Но были стихи и о другом, в другой тональности:

Нет, не спрятаться мне от великой муры
 За извозчичью спину — Москву,
 Я трамвайная вишенка страшной поры
 И не знаю, зачем я живу.

Мы с тобою поедem на «А» и на «Б»
 Посмотреть, кто скорее умрет...

Или иначе, но тоже не легче:

Все, Александр Герцевич,
 Заверчено давно.
 Брось, Александр Скерцевич.
 Чего там! Все равно!

Однако какое-то подобие нормальной жизни еще сохранялось. При содействии Н. Бухарина был заключен договор на издание двухтомника; издание не состоялось, но какие-то деньги были выплачены, и Мандельштамы смогли в 1933 съездить в Крым, где, в частности, поэт сблизился с отдохавшим там же Андреем Белым (на смерть Белого Мандельштам в следующем году откликнулся циклом стихов). Осенью Мандельштам получил квартиру («две комнаты, пятый этаж, без лифта; газовой плиты и ванны еще не было», — отмечала Ахматова, неоднократно приезжавшая сюда, в Нащокинский переулок, из Ленинграда) .

В Москве была квартира, но не было друзей. Друзья были в Ленинграде.

«В этой биографии поражает одна частности, — снова обратимся к воспоминаниям Ахматовой. — В то время (1933) как Осипа Эмильевича встречали в Ленинграде как великого поэта, persona grata и т. п., к нему в “Европейскую” гостиницу на поклон пошел весь литературный Ленинград (Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский) и его приезд и вечера были событием, о котором вспоминали много лет и вспоминают еще и сейчас (1962), в Москве Мандельштама никто не хотел знать и, кроме двух-трех молодых ученых-естественников, Осип Эмильевич ни с кем не дружил...»

В этой квартире, «тихой, как бумага», 13 мая 1934 Осип Мандельштам был арестован. К этому все шло. «Я к смерти готов», — вспоминала Ахматова слова Мандельштама, сказанные им весной этого года, уже после того, как были написаны антисталинские стихи, в том числе и ставшее самым знаменитым:

Мы живем, под собою не чуя страны,
 Наши речи за десять шагов не слышны.
 А где хватит на полразговорца,
 Там припомнят кремлевского горца.

Она же была свидетелем всего происшедшего.

«Ордер на арест был подписан самим Ягодой. Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. За стеной, у Кирсанова, играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел “Волка” (“За гремучую доблесть грядущих веков...”) и показал Осипу Эмильевичу. Он молча кивнул. Прощаясь поцеловал меня. Его увели в семь утра. Было совсем светло. Надя пошла к брату, я — к Чулковым на Смоленский бульвар...»

Дальнейшие события хорошо известны. Поэт получил ссылку в Чердынь на три года с разрешением жене сопровождать его, а осенью, после попытки самоубийства, — разрешение выбрать город на жительство «минус двенадцать» (то есть за исключением двенадцати крупнейших); был выбран Воронеж.

Подробно изложены различные версии того, почему Сталин так «мягко» отнесся к вызову, брошенному поэтом. Подробно и во всех красках описан пресловутый звонок

Сталина Пастернаку. «Две королевы», как позже назовет Н. Мандельштам и А. Ахматову в своей известной песне Александр Галич, порешили, что «Пастернак вел себя в этом разговоре на твердую четверку». В общем, для судьбы поэта это не суть важно.

С апреля 1935 начинаются «воронежские стихи». «Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен», – писала Ахматова. Интересно заметить, что уже в первом из них («Чернозем», апрель 1935) повторяется формула, которую использовал поэт при возвращении в Москву в 1931. Тогда звучало: «Москва — опять Москва. Я говорю ей: здравствуй!», теперь:

Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глаза ст...
Черноречивое молчание в работе.

Поэт делает героическое усилие — и вновь «принимает» действительность. Много пишут о «престалинских» стихах воронежского периода («Ода», «Стансы»). Взятые отдельно, они, конечно, вызывают недоумение и даже какой-то холодок: неужели таким стал Мандельштам? Или это «помрачение ума», что, как один из косвенных мотивов, допускает и тонко разбирающийся в мире поэт С. Аверинцев? Кажется все-таки, что точнее иное объяснение, тоже присутствующее у Аверинцева. Поэтическая система Мандельштама предполагала обязательное освоение, «каталогизацию» того мира, в котором в тот или иной период — этап — он существовал, воссоздавая его в сложно-ассоциативных или простых, но многозначных «деталях». Так осваивалась им западноевропейская католическая культура, так осваивалась Эллада, Армения, Москва, не говоря уже о Петербурге. Так же стал осваивать сталинскую эпоху поэт, «перебирая» определяющие ее компоненты (да так же «осваивал» он и Сталина в том самом «Мы живем, под собою не чуя страны...»). Ну не поэтический материал он выбрал, спору нет, но другого-то не было...

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Жизнь в Воронеже была тяжелой, хотя появились и новые друзья, в первую очередь — Н. Штемпель и С. Рудаков; в гости приезжали Ахматова, Эмма Герштейн. Мандельштам даже пытался заниматься литературным трудом — работал на местном радио, сочиняя постановку «Юность Гете», давал литературные консультации в театре; в журнале «Подъем» в 1935 друзья помогли напечатать несколько рецензий, подписанных инициалами О.М. В Москве в этот же год «проскочила» книжка поэм грузинского писателя Важа Пшавелы с мандельштамовским переводом сказа «Гоготур и Апшина».

С 1936 положение осложняется.

«Зарботки прекратились, – пишет Н.Я. Мандельштам. – Знакомые на улицах отворачивались или глядели на нас не узнавая <...>. Приблизился 1937 год. К этому времени О.М. был уже тяжело болен. Врачи не умели или не хотели распознать его болезнь <...>. Он плохо дышал, но продолжал работать. В сущности, он сжигал себя, и хорошо делал. Будь он физически здоровым человеком, сколько лишних мучений пришлось бы ему перенести...»

В «Воронежских стихах» слышатся словно два голоса поэта. Один — о котором подчеркнута говорят мемуаристы: Мандельштам нашел в себе силы «опереться на землю», запечатлеть свободное дыхание природы:

Люблю морозное дыханье
И пара зимнего признанье:
Я — это я, явь — это явь...

Но собственного свободного дыхания — не было, ибо все же поэт ощущал себя пленником, находящимся «в размолвке с миром, с волей», особенно в «городе», который «сумасбродно цепок»:

И в яму, в бородавчатую темь
 Скольжу к обледенелой водокачке
 И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
 И разлетаются грачи в горячке —

А я за ними ахаю, крича
 В какой-то мерзлый деревянный короб:
 — Читателя! советчика! врача!
 На лестнице колючей разговора б!

Самым загадочным, многозначительным произведением, написанным в Воронеже, являются, по мнению многих исследователей, «Стихи о неизвестном солдате» (1937) — произведение, соединяющее в себе реальное и фантастическое, антивоенный пафос — с метафорическим освоением теории Эйнштейна, связанное с идеями Ломоносова, Хлебникова и европейской поэзией XX в. Недаром ему посвящены целые исследования.

16 мая 1937 воронежская ссылка закончилась. Мандельштамы уехали в Москву.

«Чего-то он здесь не узнавал, — вспоминает Э. Герштейн. — И люди изменились... — все какие-то, он шевелил губами в поисках определения, — ...все какие-то... поруганные».

Они встретились с Ахматовой, приехавшей из Ленинграда, общались с В. Катаевым, «строили планы на будущее»...

Однако перспективы работы оказались призрачными, вдобавок — «судимость» встала непреодолимым барьером для прописки в собственной квартире. «В сущности, милиция проявила необычайную гуманность и мягкость, — горько иронизирует Надежда Яковлевна. — Большому Мандельштаму дали отлежаться, а потом предложили уехать. Обычно так не церемонятся...»

Последний год — скитания (Савелово, Ленинград, Малоярославец, Калинин), жизнь на чужие деньги (Надежда Яковлевна тщательно перечисляет всех, кто не боялся помогать и привечать гонимого поэта; «тайными интеллигентами» называет она этих людей). Неожиданно «смилоствивился» Литфонд, выделив Мандельштамам путевки в дом отдыха в Саматиху. Этот подмосковный поселок стал последним местом жизни Мандельштама на свободе.

В ночь с 1 на 2 мая 1938 он был вновь арестован.

«Дорогой Шура! Я нахожусь — Владивосток СВИТЛ — 11 барак. Получил 5 лет за К. Р. Д. по решению ОСО. Из Москвы из Бутырок этап выехал 9 сентября, приехал 12 октября. Здоровье очень слабое. Истощен до крайности, исхудал, неузнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки, очень мерзну без вещей...»

Это последние строки, написанные Осипом Мандельштамом, — письмо брату Александру. Поэт умер в пересыльном лагере «Вторая речка», в пригороде Владивостока. Как вспоминали солагерники, поэта похоронили в общей могиле.

...Мало в нем было линейного,
 Нрава он не был лилейного,
 И потому эта улица
 Или, верней, эта яма
 Так и зовется по имени
 Этого Мандельштама...